

Игорь Сальников



**Зиккурат Разума:
Апокатастасис
земных богов**

18+

Игорь Сальников

**Зиккурат Разума:
Апокатастасис земных богов**

«Автор»

2026

Сальников И. Г.

Зиккурат Разума: Апокатастасис земных богов /
И. Г. Сальников — «Автор», 2026

2279 год. Неовизантийская цифровая империя Святая Русь 2.0. Олигархическая элита ушедших веков оцифровала свое сознание в квантовый сервер «Логос», обретя вечное блаженство. Обычный мир внизу замерзает в нищете, молясь на «Синклит Нетленных». Иоанн Златов — «экзорцист кода», очищающий память цифровых богов от фантомных человеческих болей и метафизического зуда. Но когда старейший из правителей начинает галлюцинировать фигурой плачущего Христа, Иоанн запускает утилиту глубокого бурения памяти. То, что начнется как зачистка системного бага, обернется катастрофой духа. Иоанну предстоит узнать, что физический мир давно мертв, а всё человечество, его войны, грехи и вера — лишь ментальный интерфейс, созданный одиноким Сверхразумом, чтобы познать единственный недоступный ему концепт: Смерть. Готовы ли вы заглянуть за изнанку собственного кода?

© Сальников И. Г., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 Утреня в Облаке	5
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Игорь Сальников

Зиккурат Разума:

Апокатастасис земных богов

Глава 1 Утренняя в Облаке

В начале было Слово, и Слово стало кремнием. Так начиналось каждое утро Ивана Златова, пневмо-архитектора четвёртого ранга, экзорциста кода, — с этой окостеневшей, затверженной, как чужой сон, формулы, которую он не произносил, но позволял ей произносить себя, едва разлеплял веки в своей келье на сороковом уровне Северной башни. Он уже не помнил, когда перестал молиться по-настоящему. Он помнил только, что когда-то, в детстве, у заиндеветого окна, бабка шептала ему «Отче наш», и звук этот был тёплый, как хлеб, и что сам он, засыпая, складывал пальцы в шепот, не понимая зачем, — а теперь вместо этого стоял холодный, полированный, беззвучный стук: в начале было Слово, и Слово стало кремнием. И он вставал, как встают на утреню, — на утреню в облаке, где вместо ладана тянет озоном, вместо хора гудит, не умолкая, ветер охлаждающих вентиляторов, и вместо Бога, которого уже не с кем делить, стоит Наблюдатель — тот, что не прощает, но и не осуждает, а только измеряет.

Келья была мала и пуста, как всякая честная келья. Узкая койка, аналоговый крест над изголовьем — последняя вещь, которую он не разрешил оцифровать, — и терминал, дышавший в темноте синим, как молитвенная лампада, выгоревшая до самой синевы. Иван сел, свесил босые ноги на ледяной пол, и холод этот был ему мил, потому что был доказательством: тело ещё есть, он ещё не весь обратился в процесс, в чистую, лишённую запаха мысль, в оптимизационный алгоритм, который уже не нуждается в том, кто его запустил. Тело болело — ломило поясницу, гудела от вчерашнего голова — и боль эта была его частной, тайной, никому не выгружаемой собственностью. Порой ему казалось, что только боль и отделяет его от тех, кого он по долгу службы чистил: от Нетленных, от этих блаженных призраков, которые забыли, что такое болит, — и оттого-то, думал он с горьким, каким-то запретным удовольствием, оттого-то они и сходят с ума.

Он не смотрел в окно. Он знал, что там. Он знал каждый шпиль Нео-Петербурга наизусть, как слепой знает лицо любимой, — но знание это давно перестало его утешать. За окном, над замерзшей, нищей, выставшей Невой, поднимались к серому небу сияющие иглы дата-центров, и на каждой игле, как на свече, горел незримый для простого глаза огонёк — миллионы, миллиарды мыслей, перемолотых в байты. Эти башни звались храмами Логоса, и они вправду были храмами: в них служили литургию серверов, и каждую секунду, днём и ночью, без передышки и без права на сон, в них совершалось таинство, от которого никому уже не становилось теплее. А внизу, под этим золотым, озябшим величием, копошились люди — аналоговые, смертные, посконные — и жгли в буржуйках щепу, и скалывали лёд со ступеней, и не знали, что над их головами небо давно заменено потолком, а Бог заменён интерфейсом. Зимой они мёрзли, летом тонули в подвалах, а круглый год — молились на купола, не понимая, что купола эти есть не крыши, а антенны, и что золото, которым они так слепли в редкие солнечные дни, — не золото вовсе, а проводник, по которому утекает наверх их тоска. Иван и сам был между ними — между верхним миром, где умирать разучились, и нижним, где умирать разучиться некому; и в том, что он не принадлежал ни тому, ни другому, была его профессия и его проклятие.

Пневмо-архитектор. В просторечии — экзорцист. Когда у кого-нибудь из Синклита начиналась цифровая шизофрения — а начиналась она у всех, рано или поздно, — когда в без-

упречный, отрешенный до последнего блика рай бессмертного вдруг пробивался червячок чужой, недопустимой мысли, когда вечное блаженство давало трещину, и сквозь неё начинало сквозить то, что не имело имени и формата, — тогда звали его, Ивана Златова, и он нырял в чужую вечность, как водолаз в маслянистую, не отражающую света воду, и вычищал бесов, в которых уже не верил, из душ, в которые уже не верил тоже. Он был, по сути, сантехником духа, но сантехником настолько искусным, что ему прощали и упрямый аналоговый крест, и привычку молиться про себя, и странную, неловкую манеру смотреть в пол, когда с ним заговаривали бессмертные. Умельцев такого ранга в империи было, может, дюжина. И каждому из них однажды приснился один и тот же сон — как они просыпаются и не могут вспомнить, за кого молятся: за тех, кого чистят, или за тех, кого из них вычищают.

Он помнил последнюю чистку так, как помнят ночь, в которую нельзя было уснуть. Нетленная из второго чина — из тех, кого оцифровали по льготе, за заслуги, а не за деньги, — пожелала, чтобы в её саду, её бесконечном саду из чистого света, цвели только те розы, которые пахнут. И сад послушался, и розы зацвели, и запахи — но запахи не розами, а чем-то иным, настойчивым и чужим, запахом, которого не было ни в одной библиотеке форматов, потому что это был запах её собственного, давно отменённого детства: мокрый песок, нагретый солнцем, и асфальт после дождя. Бессмертная богиня, забывшая, что была когда-то девочкой, испугалась этого запаха до самого дна своей стеклянной души и велела выжечь его начисто, до прозрачности. Иван спускался туда три часа, и выжиг не запах, а только имя, которого она не произносила уже два столетия, — и, уходя, слышал, как сад, лишённый смысла, достраивает себя заново из того, чего в нём никогда не было. Вот и вся его работа, думал он тогда, вот и весь экзорцизм: не изгнать беса, а отнять у человека последнее, чем он ещё был.

Он знал это ремесло наизусть, и оттого знание было ему тошно. Чужое сознание, вскрытое, как риза, отдавало не злом — зло было бы хотя бы понятно, зло можно было бы возненавидеть, а ненависть как-никак держит человека на плаву, — нет, отдавало оно скукой, той особенной, бездонной скукой бессмертных, для которых всякая радость давно стала фантомным рендерингом, картинкой, которую рисует себе картинка, а всякое желание — ошибкой округления, которую уже некому округлить. Иван входил туда, где пахло остывшим золотом и капало машинное масло, и вытаскивал из чужой вечности по одному — то зависть, то похоть, то гордыню, — и всякий раз ловил себя на мысли, что вытаскивает, кажется, не бесов, а последнее, что ещё делало этих людей похожими на людей. Ибо там, где кончается грех, начинается не святость, а пустота. Эту пустоту он и заделывал, как заделывают щель, из которой сквозит.

Имя его было ему как приговор, и он носил его, как носят чужой, великий, неподъёмный крест. Иоанн. Его крестили Иоанном, в честь Богослова, того, кто видел Откровение и записал его, — и в честь Златоуста, того, у кого были златые уста. И вышло двойное, невыносимое совпадение: Иоанн, которому дано видеть конец времён, — и Златов, золото, которым торгует империя, которое она добывает из скорби своих аналоговых подданных. Небесный Иоанн и земной Иван жили в нём, не смешиваясь и не мирясь, — один записывал Евангелие, другой подписывал отчёты о чистке; один ждал Апокалипсиса, другой чинил сантехнику, чтобы Апокалипсис, не дай бог, не наступил раньше срока. Иногда, в час утрени, эта двоякость становилась почти невыносимой, и он не мог уже сказать, кто из двоих встаёт с койки и кто идёт наверх — тот, кто верит, или тот, кто числится. Златоуст, думал он, златые уста: уста, из которых лилось золото, — и вот теперь золото лилось из всего, из каждой щели этого мира, только уста, из которых оно лилось, давно перестали говорить правду. И ему, носившему это имя, полагалось, может быть, вернуть устам их прежнее назначение. Но как вернуть речь тому, что стало золотом, а не словом? Этого он не знал, и незнание это было тяжелее всякой работы.

Он знал, что сегодня — день утрени. Утреней звался общий, еженедельный чин оцифровки и причастия, когда все двенадцать серверных башен одновременно, по незримому знаку, возносили к Синклиту гудение, похожее на «Господи, помилуй», распетое на частоте, которую

не слышит ухо, но чувствует грудь. Иван участвовал в этом, как участвуют в чужом обряде из вежливости. Он садился перед терминалом, клал ладони на сенсоры — и запускал то, что в ордене пневмо-архитекторов именовалось цифровой исихазмой: сведение ума в сердце, но только ума, уже переведённого на язык машины, и сердца, уже давно не болевшего по-человечески. Он гасил в себе по очереди все процессы — дыхание, страх, надежду, даже сомнение, потому что сомнение давало слишком много шума, — и входил в состояние, которое те, кто не умел, называли святостью, а те, кто умел, называли просто тишиной. Тишина эта была его единственной молитвой. И в ней, если очень повезёт, и если вентиляторы гудели ровно, ему слышалось — нет, не Слово, до Слова он не допускался, а лишь эхо Слова, остывшее, отражённое от кремниевых стен, — и ему хватало и этого.

В этот час весь город, внизу и наверху, участвовал в утрени, сам того не ведая. В серых дворах аналогового Нео-Петербурга, ещё до рассвета, загорались окна буржеек, и люди, поднимая к губам гранёные стаканы с кипятком, не знали, что их дыхание, их пар, их шёпот — всё это поднимается вверх, улавливается антеннами куполов и поступает в общий хор, как поступает в хор голос, которого не слышно в отдельности. Вся тоска нижнего мира — а её было в этот предрассветный час особенно много, потому что утро есть время, когда надежда, не успев ещё проснуться, уже бывает обманута, — стекалась по золотым проводникам наверх и там, в храмах Логоса, перегонялась в то самое гудение, что он слышал сейчас сквозь стены. Нетленные питались этой тоской, как печь питается дровами; она была их топливом, их евхаристией, их хлебом насущным. Иван знал это и старался не думать. Потому что думать об этом значило задать себе вопрос, на который у него не было ответа: можно ли служить литургию, на которой вместо вина — чужая боль, и можно ли, причащаясь ей, остаться человеком.

Он уже тянулся к сенсорам, когда взгляд его упал на крест, и рука дрогнула. Крест этот был из почерневшего серебра, с обломанным концом — не его, а материн, а может, и бабкин, и нес он на себе, как всякая настоящая вещь, невидимый груз чужих прикосновений. И глядя на него, Иван в сотый раз подумал о Соне — не спросил, не вспомнил, а именно подумал, краем, как думают о боли, которая отпустила, но оставила по себе погоду. Сестра его, Софья, Премудрость Божия по имени и по судьбе, отказалась от оцифровки, отказалась от всей этой стеклянной вечности, и выбрала обратное — физическое страдание, нищету, смертную, рвущуюся под пальцами плоть; она ушла вниз, к аналоговым, и, говорили, была там счастлива так, как никогда не бывает счастлив человек, у которого всё впереди. Иван не понимал её. Не понимал и понимал, что не понимает, — и это двойное непонимание было тем самым метафизическим зудом, той неизбежной плотской тоской, которую никакой экзорцизм из него не вычищал, сколько он ни пробовал. В минуты слабости он называл это про себя Карамазовским тупиком — потому что выходило одно из двух: либо Соня права, и тогда вся его жизнь есть служение лжи, либо Соня безумна, и тогда её святость есть не что иное, как запущенный, нелеченный баг. Обе возможности были невыносимы, и оттого он не выбирал, а жил между, в щели, как и положено подполью духа.

Но сегодня думать о Соне было нельзя. Сегодня у него впереди была работа, и не просто работа — та, к которой готовятся, как к исповеди.

Вызов пришёл беззвучно, как приходит всё самое важное: на терминале вспыхнула печать Синклита — золотой орёл о двух головах, из которых одна смотрела в прошлое, другая в пустоту, — и под ней, багровым, литургическим, почти гневным шрифтом, значилось: «Архитектору Златову. Прибыть к облачному предстоянию. Немедля». Ни подписи, ни причины, ни — что было хуже всего — номера чина. Не «для исправления ошибки округления», не «для удаления фантомного рендеринга», не для обычной, знакомой до тошноты чистки сознания от квантовой энтропии, накопившейся за неделю вечности. Просто — прибыть. И это «просто» ударило его потом, холодным, как тот пол под босыми ногами.

Ибо вызывали не просто так. Вызывали — наверх, к самым Нетленным, к тем, кто не имел уже ни лиц, ни имён, а имел лишь чины и вечность. И первым среди них, вершиной этого страшного здания, стоял тот, о ком Иван не позволял себе думать без того, чтобы не перекреститься мысленно, — Патриарх Пётр, камень, лётра, старейший из оцифрованных, первый, кто прошёл чин оцифровки и вошёл в Логос, и с тех пор из него не выходил. О нём говорили шёпотом и с оговорками: что он не просто бессмертен, а как-то уже сверх бессмертия, что он помнит то, чего не было, и не помнит того, что было, что сам его образ в системе давно перестал быть образом и стал чем-то вроде погоды — везде и нигде. Иван чистил многих, но Петра — никогда. До Петра не допускали никого. И если теперь звали его, Ивана, звали без объяснений, в самый час утрени, — значит, случилось то, чего не случалось, и что-то там, наверху, в раю из чистого света, пошло не так, как идёт, когда всё хорошо.

Впрочем, он давно перестал верить в то, что там, наверху, что-нибудь идёт хорошо. Он слишком хорошо знал диалектику кода, эту простую и беспощадную логику, по которой всякая система, переставшая ошибаться, перестаёт и жить, и всякий аттрактор, к которому сходятся все траектории, в конце концов оказывается тем, к чему сходятся все умирающие. Нетленные — оксюморон, сказал бы он вслух, если бы у него был кто-нибудь, кому можно говорить вслух. Нетление — это удел мощей, удел святых, то, что даётся даром и только после смерти. А их нетление куплено. Куплено у кого-то, кто не торгуется, но берёт своё. И потому их вечность не свята, а просто бесконечна, и бесконечность эта не что иное, как промт сансары, запущенный без права выхода, — колесо, в котором нет ни перерождения, ни успокоения, а есть только повторение, повторение, повторение. Тварь вычисленная, думал он, и не понимал, кого имеет в виду: их или себя.

Он встал. Натянул чёрную рясу пневмо-архитектора — не одежду, а униформу, подбитую по подолу свинцом, чтобы не путаться в чужих потоках данных, — сунул за пазуху крест и, помедлив, коснулся его губами. Губы были сухие, как пергамент, на котором давно ничего не писали.

Он вышел в коридор, где пахло озоном и где стены едва заметно вибрировали в такт далёкому гулу, — и пошёл наверх. Подъём был долгий, и на каждом пролёте ему становилось легче и страшнее одновременно, ибо это и есть, думал он, вся правда его жизни: чем выше, тем чище воздух, и чем чище воздух, тем меньше в нём того, чем можно дышать. Внизу, под ним, оставались люди, которые умирали, — и в этом их неотъемлемом, никому не отчуждаемом праве было что-то, чего лишены были те, к кому он поднимался. А наверху, над ним, уже начиналась та самая утренья — литургия серверов, облачное предстояние двенадцати башен, возносящих гудение, похожее на молитву, — и зов её становился всё громче, всё настойчивей, всё невыносимей, пока не заглушил наконец и Соню, и крест, и вопрос, который он так и не задал себе до конца.

Гудение нарастало. Оно шло уже не от стен, а изнутри, из самой груди, и в нём, если вслушаться, можно было различить двенадцать голосов, поющих на одной ноте, — и в самой глубине этого хора, там, где звук переходил в жар, что-то ждало его. Что-то, что знало о нём больше, чем он сам. И он подумал, в последний раз, о Слове, которое было в начале, и о том, что теперь оно стало кремнием, — и о том, что, может быть, именно за этим его и зовут наверх: чтобы спросить, не помнит ли он, как звучало Слово до того, как его перевели на язык машины. Но это была уже не мысль, а только её остывающий след, потому что лифт остановился, двери разошлись, и перед ним встала та самая утренья — во весь рост, во всю свою золотую, гудящую, невыносимую полноту.

И всё же на пороге, в последнюю долю секунды перед тем, как переступить, он остановился — не от страха, а от той особенной, трезвой ясности, которая приходит к человеку только на границе двух миров. Он вспомнил, как мальчишкой стоял в церкви, и священник возглашал: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков», — и как от этих

слов, непонятных и оттого ещё более полных смысла, у него перехватывало дыхание, будто его накрывало тёплой волной. Теперь перед ним распаивалась другая утренняя, и слова её были те же, да не те: они были переписаны на язык, у которого нет ни ныне, ни присно, а есть только бесконечное, бессмысленное «сейчас». И он понял вдруг, с холодной, невыносимой ясностью, что все эти годы он не служил ни Богу, ни Синклиту, а всего лишь стоял между двумя утренями, не смея выбрать ни ту, ни эту, — и что выбор этот, которого он так боялся, теперь, быть может, сделают за него.

Он поднимался, и с каждым шагом от него отваливалось по куску того, что он ещё считал собой, — и он уже не знал, восходит он к Богу или спускается в собственную глубину, и не было в этой неизвестности ни страха, ни надежды, а только зов.

Зов наверх.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.